

ВИКТОР ПЕЛЕВИН

ВИКТОР ПЕЛЕВИН



АНАНАСНАЯ ВОДА
ДЛЯ
ПРЕКРАСНОЙ ДАМЫ



Москва
2023

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
П24

Художественное оформление серии
Алексея Клепнева

Пелевин, Виктор Олегович.
П24 Ананасная вода для Прекрасной Дамы / Виктор
Пелевин. — Москва : Эксмо, 2023. — 320 с.

ISBN 978-5-04-175378-8

«Война и мир» эпохи, в которую нет «ни мира, ни войны».

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-175378-8

© В.О. Пелевин, 2016
© А. Клепнев, иллюстрация
на переплете, 2022
© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2023

Часть I

Боги и механизмы

Автор не обязательно разделяет религиозные, метафизические, политические, эстетические, национальные, фармакологические и прочие оценки и мнения, высказываемые персонажами книги, ее лирическими героями и фигурами рассказчиков.

Операция «Burning bush»¹

I'm the little jew who wrote the Bible².

Leonard Cohen

Чтобы вы знали, меня зовут Семен Левитан.

Я родился и вырос в Одессе, на пятой станции Большого Фонтана. Мы жили совсем рядом с морем, в сталинской квартире конца тридцатых годов, доставшейся моей семье из-за минутной и не вполне искренней близости к режиму. Это было просторное и светлое жилище, но в его просторе и свете отчетливо присутствовал невыразимый советский ужас, пропитавший все постройки той поры.

Однако мое детство было счастливым. Вода в море была чистой (хотя тогда ее называли грязной), трамваи ходили без перерывов, и никто в городе не знал, что вместо английского языка детям надо учить украинский — поэтому отдали меня в английскую спецшколу. По странному совпадению, в ее вестибюле висела репродукция картины «Над вечным покоем» кисти одного из моих великих однофамильцев — Исаака Левитана.

Я не имею отношения к этому художнику. Зато, если верить родителям, я отдаленный родственник

¹ Операция «Горящий куст».

² Я маленький еврей, написавший Библию.

знаменитого советского радиодиктора Юрия Левитана, который в сороковые годы озвучивал по радио сводки Информбюро. Очень может быть, что именно гены подарили мне сильный и красивый голос «таинственного серебристо-ночного тембра», как выразилась школьная учительница музыки, безуспешно учившая меня петь.

Документальных свидетельств родства я не видел — никаких архивов у нас не сохранилось. Но семейное предание заставило маму купить целый ящик записей Левитана на гибких пластинках, сделанных из старых рентгенограмм. Подозреваю, что эта же сень отраженного величия заразила папу-преферансиста поговоркой «я таки не играю, а счет веду».

Слушая размеренный, как бы неторопливо ликующий голос Левитана, я с детства изумлялся его силе и учился подражать ей. Я запоминал наизусть целые военные сводки и получал странное, почти демоническое удовольствие от того, что становился на несколько минут рупором сражающейся империи. Постепенно я овладел интонационными ухищрениями советского диктора, и иногда мне начинало казаться, что я настоящий ученик чародея — мой неокрепший голос вдруг взрывался раскатом громоподобных слов, словно бы подкрепленных всей танковой мощностью Центральной Азии.

Родителей весьма впечатлял мой имитационный талант. С другими людьми обстояло чуть сложнее.

Дело в том, что моим родным языком был не столько русский, сколько одесский. И мама, и отец говорили на уже практически вымершем русифицированном идише, который так бездарно изображают все рассказчики еврейских анекдотов. Я, можно сказать,

и вырос внутри бородатого и не слишком смешного анекдота, где фраза «сколько стоит эта рыба» звучала как «скильки коштуе цей фиш».

Этот специфический одесский parlance впитался в мои голосовые связки настолько глубоко, что все позднейшие попытки преодолеть его оказались безуспешными (забегая вперед, скажу, что густая тень идиша легла не только на мой русский, но и на мой английский). Поэтому, хоть изображаемый мной Левитан звучал совершенно естественно для моих родителей, приезжих из Ма-асквы он смешил до колик. Мне же их тягучий как сгущенка северный выговор казался до невозможности деревенским.

Летом меня отправляли в странный пионерлагерь, расположенный совсем рядом с домом — он помещался в здании интерната для глухонемых, которых на лето, надо думать, вывозили на север. В палате пионерлагеря я развлекал более сильных и наглых ребят своим небольшим даром.

Надо сказать, что я был слабосильным мальчиком. Сперва родители надеялись, что мой рост и сила лишь временно зависли на какой-то небесной таможне и я еще наверстаю свое. Но к шестому примерно классу стало окончательно ясно, что папа создал не Голиафа, а очередного Давида.

Мудрый Фрейд не зря говорил, что анатомия — это судьба. Мой имитационный талант оказался единственным противовесом жестокому приговору природы. Но все-таки противовес существовал, и гопники с гегемонами били меня не слишком часто — я умел их развлечь.

Сперва я просто читал заученные наизусть военные сводки, пестрящие дикими географизмами — в темной

палате они звучали непобедимыми азиатскими заклинаниями. Но постепенно это наскучило моим слушателям, и я начал импровизировать. И вот здесь выяснились удивительные особенности моей магической речи.

Любая из страшных историй, которые дети рассказывают друг другу в темноте, приобретала в моем исполнении иное качество — и пугала даже тех, кто обычно смеялся над страшилками. Мало того, самые простые слова, обращенные к моим товарищам по палате в темный час после отбоя, вдруг наполнялись жутким многозначительным смыслом, стоило мне произнести их голосом Левитана.

Любой этнограф, знакомый с особенностями евразийского детства, знает, что в подростковой среде соблюдаются строгие социальные протоколы, нарушение которых чревато такими же последствиями, как неуважение к тюремным табу. Но моя волшебная сила ставила меня выше подобных правил. В минуты имперсоналий я мог, как тогда выражались, «бакланить» без всяких последствий, говоря что угодно кому угодно — и с этим смирялись, как бы почитая сошедшего на меня духа. Разумеется, я не ставил подобных экспериментов в своем обычном художественном качестве, когда в палате становилось светло.

Была, впрочем, одна досадная проблема — о ней я уже упоминал. Некоторые ребята обладали иммунитетом к моей магии. Мало того, я их смешил. Обычно это были москвичи, занесенные к нам потоками арктического воздуха.

Причина была в моем одесском выговоре — он казался им смешным и несовместимым с грозным смыслом произносимых слов. В такие минуты я ощущал нечто похожее на трагедию поэта, которому легкая

картавость мешает обольстить свет чарами вполне гениальных строк. Но москвичей среди моих слушателей было мало, и некоторые из них таки падали под ударами темных крыл моего демона, так что по этому вопросу я переживал не особо.

С одним из москвичей я даже подружился. Его звали Влад Шмыга. Это был толстый мрачный парень с очень внимательными глазами и вечно потным ежиком. Мне льстило, что он был одним из тех северян, кто не смеялся над моим выговором, а его, несомненно, впечатлял мой талант.

В нем было что-то военно-детдомовское — только его хотелось назвать не сыном полка, а сыном заградотряда. Его любимым эпитетом было слово «убогий», применявшееся ко всему, от погоды до кинематографа. Кроме того, у него было необычное хобби.

Он вел досье на каждого мальчика из нашей палаты — в общей тетради, которую хранил в мешке с грязным бельем под защитой нескольких особо пахучих носков. Мне он ее доверительно показал, когда мы курили сырые ростовские сигареты в кустах возле столовой. Про меня там было написано следующее:

Семен Левитан.

Обладает умением говорить голосом загробного мира, отчего ночью делается страшно. Может не только напугать до усрачки, но и утешить и вдохновить. Таким образом, имеет уникальную способность, близкую к гипнозу. Способен выражаться красиво и заумно, так что кажешься себе некультурным дураком, но, когда забывается, начинает говорить быстро и с сильным еврейским акцентом. Тогда гипноз пропадает...

Я, конечно, и сам про себя все это знал — только формулировал чуть иначе. Однако я был знаком с собой вот уже двенадцать лет, а Владик выделил из меня эту смысловую суть всего за несколько дней. Мало того, за этот короткий срок он успел проделать то же самое и с остальными соседями по палате, и это, конечно, впечатляло. Наверное, именно тогда я впервые понял, что кроме меня в мире есть много других специфически одаренных людей, и гордиться своим даром следует очень осторожно.

Мы с Владиком переписывались пару месяцев после лагеря, потом он хотел опять приехать в Одессу, но не смог — и постепенно наша дружба сошла на нет. Думаю, последнее письмо написал все-таки я, но не уверен.

После школы меня отправили учиться в московский Институт иностранных языков. Мама долго не хотела отпускать меня, ссылаясь на корни, без которых я увяну, но папа, как опытный преферансист, обыграл ее, хитро передернув козырную цитату из Бродского (тот был для мамы высшим авторитетом). Он сказал так:

— Если выпало в империи родиться, надо жить в глухой провинции у моря. Ну а если выпало родиться в глухой провинции у моря? Значит, Семену так надо жить в империи!

Но империя в это время уже дышала на ладан, а пока я учился в инязе, и вовсе перестала это делать, после чего римские циклы Бродского потеряли одну из главных эстетических проекций, а мои карьерно-выездные надежды — так и вообще всякий смысл.

Об ужасе девяностых я умолчу. Скажу только, что за российский паспорт с меня содрали непорядочно

много денег — это была явная несправедливость даже по тем беспредельным временам. Правда, английскому в Москве я научился весьма сносно.

В один прекрасный день на заре нового миллениума я увидел в зеркале некрасиво лысеющего худого мужчину, которого уже довольно трудно было назвать «молодым человеком». Этот потасканный низкооплачиваемый субъект жил в съемной хрущобе у метро «Авиамоторная» и преподавал английский на расположенных у Павелецкого вокзала курсах «Intermediate Advanced», куда ходили технические абитуриенты и размечтавшиеся проститутки.

Рядом со мной работало несколько преподавателей, в которых я без особого труда мог опознать себя через десять, двадцать и тридцать лет — и это зрелище было настолько унылым, что я начинал подумывать, не уйти ли мне из жизни куда-нибудь еще.

Подходящим способом казалось уснуть навсегда. Я, собственно говоря, и пытался сделать это каждый вечер, но, поскольку мне страшно было глотать таблетки или резать вены, я каждый раз просыпался опять, и с этим ничего нельзя было поделать.

По вечерам я читал французские экзистенциальные романы шестидесятых годов — целый их шкаф достался мне по наследству от командовавшего атомным ледоколом капитана, затонувшего в моей халупе в годы приватизации. От этого чтения в моей депрессии ненадолго появлялся благородный европейский налет — но достаточно было одной поездки в переполненном трамвае, чтобы мыслящий тростник снова превратился в лысого еврейского лузера.

Мое отчаяние делалось все безысходней — и в высшей его точке, когда я на полном серьезе готов был

выпить настоящего яду или даже вернуться в Одессу, судьба без всякого предупреждения пересадила меня на очень крутой маршрут.

Как-то в августовское воскресенье 2002 года я шел по Новому Арбату в районе Дома книги. На улице было необычно мало машин, и воздух был полон той нежнейшей московской тоски по незаметно прошедшему лету, которая одновременно щемит сердце и примиряет с жизнью. Мне было почти хорошо.

Вдруг слева от меня скрипнули тормоза, и рядом остановилась приземистая черная машина с тонированными стеклами — в кино на таких ездят гламурные спецагенты, которым мировое правительство доверило рекламу ноутбуков «Vaio». Заднее стекло чуть опустилось, и темнота за ним позвала:

— Семен!

У меня екнуло в груди.

Голос темноты был мне незнаком, но интонации — а я таки знаю вещь или две об интонациях — были такими, словно она давно и хорошо меня знает, как и положено темноте. Отчетливо помню: в первую секунду мне показалось, будто за окном притаился какой-то забытый древний ужас — то, что мы до сих пор боимся встретить во мраке, хотя его там нет уже миллионы лет.

Видимо, испуг отразился на моем лице. Темнота довольно засмеялась, окно опустилось ниже, и я увидел человека, которого тут же узнал.

Это был Влад Шмыга, мой друг из пионерлагеря. Его внимательные глаза совсем не изменились, хоть годы и накачали хмурым жиром складки кожи вокруг них.

— Садись в машину, — сказал он. — Поедем поедем.

Я сел в прохладный темный салон.

Кроме Шмыги, в машине были водитель и человек на переднем сиденье. Шмыга ободряюще улыбнулся, и я уже начал подыскивать подходящий к случаю сентиментальный трюизм, когда человек с переднего сиденья обернулся и щелкнул чем-то возле моего плеча, уколов меня в шею.

Машина с ее обитателями сразу поплыла вверх и вправо, превратившись в подобие странной колодезной крышки, внимательно глядящей на меня тремя парами глаз. Я же занялся тем, что стал падать в колодец.

1

За ресторанным столиком обедали трое. Двое были сумрачными полными людьми с невыразительными лицами. Одеты они были скучно — в дешевый спортивно-летний ширпотреб. Третий, сидящий между ними, был, напротив, весьма ярок — бакенбарды делали его похожим на развратную итальянскую обезьяну, а клетчатый пиджак так и вообще превращал в какого-то наглого Пушкина, который вместо стихов посвятил себя мелкооптовой торговле.

Звука не было, поэтому о разговоре приходилось судить по мимике. Говорил в основном Пушкин, и сначала мне казалось, что я вижу встречу школьных друзей, один из которых пролез в президиум жизни и судьбы, а двое так и остались коллежскими ассенизаторами, и теперь добившийся успеха учит их разуму. Ассенизаторы говорили коротко и односложно, глядя в тарелки, а Пушкин витийствовал вовсю, и одним особо раздольным жестом даже опрокинул на стол бокал с вином.

Но постепенно разговор приобретал странный оборот. Ассенизаторы все чаще поднимали от тарелок тусклые злые глаза, а Пушкин все дольше держал ладонь прижатой к сердцу. И скоро мне стало понятно — он смертельно напуган, и не учит друзей жизни, а оправдывается, но ему не верят. А потом выяснилось, что никакие это не друзья, поскольку друзья себя так не ведут.

В какой-то момент Пушкин совсем потерял апломб, а двое ассенизаторов сделались окончательно похожи на гангстеров, и я вдруг догадался, что их простецкий прикид — это просто дешевая рабочая одежда, которую им не жалко испачкать. Видимо, одновременно со мной это понял и Пушкин на экране: он попытался встать с места, но ассенизаторы оказались на ногах чуть быстрее, и его рот распахнулся в неслышном крике.

Один из ассенизаторов швырнул Пушкина лицом прямо на тарелки с едой. Второй достал откуда-то молоток и гвозди, и они за несколько секунд кощунственно прибили руки недавнего члена президиума к столу — хоть я не слышал его крика, он почти физически давил мне на уши.

Все дальнейшее заняло от силы полминуты.

Оказалось, что стол стоит на колесиках — двое легко двинули его вперед. Камера переехала им за спины, двустворчатая дверь впереди раскрылась, и они быстро повлекли стол по коридору, словно санитары — каталку с больным.

Конец коридора выглядел чрезвычайно неряшливо — казалось, в его тупике шел ремонт, и стены залепили рваными лоскутами полиэтиленовой пленки. Там что-то подрагивало и блестело, и, когда стол доехал до середины коридора, я с содроганием понял, что это вращающийся диск циркулярной пилы.

Когда до нее осталось несколько метров, один из ассенизаторов потянул Пушкина за волосы, чтобы тот поднял лицо и увидел будущее. Затем стол прошел над рамой пилы (видимо, ее высота была отрегулирована заранее) и наехал на диск. Последовавшее было страшно и омерзительно. Особенно меня напугала та столярная сноровка, с которой державший Пушкина за волосы отдернул руку в последний момент.

Очумело глядя на экран, я думал, что моя догадка насчет дешевой рабочей одежды оказалась верна — убийцы, несомненно, не будут ее отстирывать, а просто выкинут. Я еще в детстве заметил, что наш ум, стараясь защитить себя от сцен запредельной жестокости, норовит вцепиться в какую-нибудь мелкую деталь и вдумчиво анализирует ее, пока все не кончится.

К этому времени я уже пришел в себя и понимал, что сижу в темном зале и смотрю фильм, который показывают через проектор. И вот экран погас.

Попытавшись встать, я понял, что не могу этого сделать — на мне была сковывающая движения упряжь, подобие смиренной рубахи, пристегнутой к креслу на колесиках, в котором я сидел. Когда зажегся свет, я увидел, что это кресло стоит в проходе между пустыми рядами.

Но я наслаждался одиночеством недолго. На плечо мне легла легкая ладонь. Я вздрогнул и попытался обернуться, насколько позволяло кресло. Но человек, положивший мне руку на плечо, стоял у меня точно за спиной и был невидим.

— Вот так бывает, — сказал назидательный женский голос, — когда много говорят не по делу. Вы поняли, Семен Исакович?

— Да, — ответил я, — я все понял. Я еще в детстве все понял.

— Тогда распишитесь.

Мне на колени упал планшет с пристегнутым к нему листом бумаги. Бумагу покрывал разбитый на множество пронумерованных параграфов текст. Шрифт был очень мелким, и я разобрал только заголовки:

ПОДПИСКА О НЕРАЗГЛАШЕНИИ

Я даже не стал спрашивать, о неразглашении чего.

— Как же я распишусь, — сказал я, — когда у меня руки связаны.

— Можете поставить крестик, — отозвался женский голос, и тонкие пальцы поднесли к моему рту авто-ручку.

Я послушно сжал ее зубами, женщина подняла планшет, и я кое-как поставил нелепую кривую загогулину напротив слова «Подпись» — она не поместилась в графе, где были мои имя и фамилия, и залезла на печатный текст. Кажется, женщину это не смутило.

Она убрала планшет, и я почувствовал мягкое прикосновение к голове. Мои глаза закрыла плотная черная повязка. Затем кресло тронулось с места.

Судя по косвенным признакам, мы выехали из зала, довольно долго катили по коридору, потом опустились на лифте, где кроме нас ехали другие люди (я услышал негромкий разговор о футболе). Потом был еще коридор и еще лифт. Наконец, переехав через порог, мы остановились, и с моих глаз сняли повязку.

Я увидел зубоврачебный кабинет.

Но такой, в котором не стыдно было бы вставить ампулу с цианистым калием в зуб самому Генриху

Гиммлеру. В его атмосфере было что-то невыразимо мрачное — словно долгие годы тут занимались пыточным промыслом, а затем, чтобы рационально объяснить пропитавшую стены ауру страдания, установили вместо дыбы зубоврачебное кресло. Такое излучение, кстати, часто пронизывает дорогую московскую и особенно питерскую недвижимость — но, к счастью для риелторов, то, что туда въезжает, бывает еще страшнее, чем то, что когда-то выехало.

Стоит ли говорить, что зубной доктор и его ассистент показались мне как две капли воды похожими на убийц из ролика.

Мне на нос нацепили резиновую прищепку сходящим от нее шлангом, и я провалился в смутное пространство газовой анестезии, где сначала вспоминаешь великую тайну, о которой все люди договорились молчать, а затем так же неизбежно забываешь ее, когда сеанс подходит к концу. Уйдя в созерцание, я даже не заметил, как меня пересадили из передвижного кресла в зубоврачебное.

Врачи ни минуты не сомневались, что им делать. Они залезли мне в рот и стали брутально сверлить верхний шестой зуб с левой стороны. Край моего сознания бодрствовал, и я подумал, что задачей недавнего кинопросмотра могла быть просто подготовка к этой процедуре: перед лицом мучительной смерти как-то перестаешь бояться зубной боли. Это было очень тонко, и я даже начал мычать, стараясь объяснить докторам, что я понял их план и в восторге от него, но один из них погрозил мне пальцем, и я замолчал. Мне показалось, что после этого анестезиолог сильно увеличил процент закиси азота во вдыхаемой мной смеси.

Когда наркоз отпустил, я был уже снова пристегнут к своему креслу-каталке. Я осторожно ощупал языком зубы. Верхний шестой стал другим. В нем появилась большая свежая пломба, которую, если сказать честно, мне давно надо было поставить самому — раньше на этом месте была дырка, и она уже начинала ныть.

— Кушать можно будет через час, — сказал в пространство один из врачей.

Подошедшая сзади женщина завязала мне глаза и покатила мое кресло прочь.

Мы опять долго путешествовали по лабиринту коридоров, а затем поднялись вверх — уже на более современном и быстром лифте, который совсем не лязгал. Меня вкатили в какую-то комнату, и кресло остановилось.

Легкие женские пальцы развязали узлы прижимавшей меня к креслу упряжи и сняли ее. Мне помогли встать и надеть мой собственный пиджак, который я узнал по цапнувшему меня за ладонь значку на лацкане (это были скрещенные американский и российский флаги — простительная вольность для учителя английского языка).

Затем меня пересадили на стул, и ассистировавшая мне женщина вышла из комнаты, укатив кресло за собой. После того как скрип колесиков стих, я довольно долго сидел с завязанными глазами в тишине, и мне уже стал надоедать этот глупый спектакль, когда в комнату кто-то вошел.

— А вот приехал друг детства Семен! — пропел рядом голос Шмыги, и он снял повязку с моих глаз. Только после этого я понял, что уже давно мог поступить так и сам — но отчего-то не решился.

Комната, где я находился, напоминала кабинет путешественника — причем не только в пространстве, но и во времени.

Первым бросался в глаза размытый импрессионистский портрет Дзержинского с теннисной ракеткой в руках, висящий над рабочим столом. Вокруг него размещалось азиатское оружие — мечи, алебарды и какие-то цепи. В углу чернел похожий на остатки сгоревшего летчика манекен для винчуна с короткими огрызками рук.

Боковые стены украшало несколько застекленных фотографий Шмыги. На одной он, в генеральской форме, стоял рядом с известным банкиром, который чуть смущенно улыбался, на другой — держал руку на плече не менее известного бандита, уже покойного. Бандит, что меня поразило, был аккуратно обведен траурной рамкой с зазором, оставленным специально для того, чтобы Шмыга мог просунуть руку в потусторонний мир.

На полу кабинета лежал персидский ковер — настоящий и, наверно, весьма дорогой.

— Товарищ гене...

— Владик, — перебил Шмыга. — Для тебя всегда просто Владик. И на «ты».

— Хорошо, — сказал я, — Владик. Ужасно рад встрече с другом детства. А особенно тому, что твои опричники оставили меня в живых.

— А в чем дело? — округлил Шмыга глаза.

Я коротко рассказал о только что пережитом, и Шмыга недоверчиво покачал головой.

— Вот сволочи, — сказал он хмуро. — Паразиты. Я им велел взять с тебя подписку о неразглашении. А перед ней у нас всегда такой ролик показывают.

Чтобы человек не просто бумагу подмахивал, а отчетливо понимал, что будет при разглашении. А они тебе ничего не объяснили? И ты, значит, на спецпроцедуру так втемную и поехал? Козлы убогие... Ну ничего, разберемся и накажем виновных. Будет им, блять, тринадцатая зарплата в твердой валюте...

Он поднял со стола блокнот с профилем Данте Алигьери на обложке и некоторое время сосредоточенно водил по бумаге ручкой, причем я сразу догадался, что он рисует внутри такие же профили Данте, только маленькие. Почему-то эти люди думают, что за долгий двадцатый век мы не изучили их методов работы.

Положив блокнот, он шагнул ко мне, словно собираясь своим запоздавшим объятием исцелить все мои душевные раны, но тут на его столе зазвонил телефон. Шмыга чертыхнулся и поднял трубку. Несколько секунд он слушал, а потом его лицо стало хмурым и внимательным.

— Так точно, — сказал он и положил трубку.

Подняв на меня глаза, он виновато развел руками.

— Видишь, что творится. Сегодня не смогу — боевая тревога. Давай встретимся через день, и я все тебе объясню. Умоляю, чуть потерпи и не бери в голову. Сейчас тебя отвезут домой. Не волнуйся, найду тебя сам...

2

Может быть, на меня все еще действовал наркоз, но дома я почти не думал о случившемся. Отмыв с рукава пиджака маленькое пятнышко крови (я так и не понял, откуда оно взялось), я без аппетита поел и лег спать.

Ужас начался в середине ночи.

— Семен, — сказал вдруг в моем мозгу замогильный голос, — ты готов к расплате, Семен?

Я отбросил одеяло и приподнялся на локтях.

В окне светила мистическая луна, ветер раскачивал занавески — все было как в немецкой романтической трагедии. Эта минута очень подходила для того, чтобы сойти с ума — или хотя бы до смерти испугаться. Я именно так и поступил: испугался до такой степени, что на голове зашевелились остатки волос.

Дело в том, что слова раздавались не где-то рядом, а приходили из самого центра моего существа. Но это был не так называемый «внутренний голос», который мы на самом деле просто воображаем, а настоящая речь. Только она доносилась из сокровеннейшего внутреннего измерения, откуда раньше со мной не говорил никто. И это было непередаваемо жутко.

— Кто ты? — спросил я, оглядываясь.

— Ты оскорбил мой дух, — сказал голос. — И теперь я буду тебе мстить, у-у-у...

«У-у-у» смешно выглядит на письме, но, когда голос завыл в моей голове, это было... Даже не знаю, как передать. Как будто бригада эзков, которая строила мою одесскую квартиру, вдруг воскресла, проложила inferнальный дымоход между моим носом и ухом — и в нем загудел страдальческий ветер ада.

Я ущипнул себя, но не проснулся.

— Кто ты? — спросил я с трепетом.

— Я дух диктора Левитана, — ответил голос.

В первый момент я купился, как камбала на Привозе.

— Я... Я очень рад, — сказал я растерянно. — Для меня это большая честь. Я много времени посвятил

изучению вашего наследия, Юрий Борисович. А в детстве даже отрабатывал дикцию, стоя на голове — прочел, что так делали вы...

— Ты издевался над моей светлой памятью с самого детства, ебаная свинья.

Тут я понял, что это какой-то подвох — интеллигентный еврей, который всю жизнь работал на радио, не скажет такого даже выпивши. А уж тем более с того света.

— Я не издевался, — сказал я, стараясь, чтобы в моем голосе звучало собственное достоинство, и совершенно неожиданно для себя перешел на интонации Левитана. — Я подражал. И делал это с большим уважением. А вы, извиняюсь, никакой не Левитан.

— Почему ты так считаешь, ничтожный червь? — спросил голос и опять завыл.

Вой снова вышел очень убедительно, но слова впечатляли меня все меньше и меньше.

— Потому, что Левитан никогда не сказал бы «ебаная свинья», — ответил я. — Он был воспитанный человек с хорошими генами, и никогда не употребил бы подобных слов, даже если бы действительно так про меня думал.

— Что ты можешь знать о великом Левитане, убогий, — провыл голос.

Тут наконец я понял, кто со мной говорит.

— Про самого Левитана я знаю мало, — ответил я спокойно. — Но я хорошо знаю, как он говорил. И я уверен, что даже с того света он не стал бы акать, как московский таксист. А уж этой присказки «убогий» я бы точно от него не услышал. Из всех моих знакомых она была только у некоего Владика Шмыги.

— Расколос, а? Надо же, — сказал Шмыга расстроенно и произнес сложное матерное ругательство — настолько грязное, что я вдруг вспомнил, как беззащитен человек перед лицом природы и как страшна его биологическая судьба.

Это совершенно лишило меня способности к дальнейшему препирательству, и в ответ я только всхлипнул. Шмыга захохотал.

Его хохот, надо сказать, был гораздо ужасней его воя. Мое только что отвоеванное психическое равновесие снова нарушилось, ибо я понял — даже если со мной действительно говорит Шмыга, ничто не мешает его голосу быть по совместительству и голосом ада. Забегая вперед, скажу, что это подозрение так и не покидало меня с тех самых пор.

Не знаю, понимал ли Шмыга, какие вихри проносятся сквозь мою траченную французским экзистенциализмом душу. Думаю, подобные ему мучители, будь они из физического или духовного мира, не особо представляют, как именно их жертвы переживают низводимое на них страдание — они знают только, что те испытывают боль, и примерно чувствуют ее интенсивность.

— Ладно, — сказал он, отсмеявшись, — молодец. Я думал, дольше продержжусь. Ты хоть понял, откуда я с тобой говорю?

И только тут до меня наконец дошло.

— Зуб? — спросил я.

— Именно. Я решил провести вводную беседу по секретному спецканалу. И уже ее провожу. Мотай на пейс и не вздумай жрать во время инструктажа... Готов?

Я лег на кровать и сказал:

— Готов.

Шмыга говорил примерно час.

К концу этого срока мне стало казаться, что в моей голове закипает чайник и его крышку вот-вот сорвет паром. Но смысл доходил до меня хорошо, хоть я и не понимал многих технических подробностей, которыми была уснащена его речь. Подозреваю, Шмыга не понимал их и сам — по паузам в его рассказе чувствовалось, что он зачитывает научные термины и цифры по бумажке. Все это я опускаю, тем более что толком и не запомнил.

Суть же была в следующем.

В эпоху заката СССР московские психиатры стали получать от некоторых граждан жалобы на раздающиеся в их голове голоса. Голоса сообщали о происходящем в мире, иногда пели, иногда поносили историю Отечества, а иногда, причмокивая, рассказывали о чудесах животворящего рынка.

Наиболее распространенным диагнозом в таких случаях была «вялотекущая шизофрения на фоне острой информационной интоксикации», или «перифрения», как новую болезнь окрестили по аналогии с перитонитом и перестройкой.

Первоначально больным назначалась лоботомия, но иссечение лобных долей мозга показало низкую эффективность. Некоторых пациентов удалось вылечить с помощью других сильнодействующих процедур старой советской школы, но такие случаи были редки, и к полноценной трудовой деятельности после этого они уже не вернулись.

В попытке лучше понять происходящее врачи принялись анализировать, что именно говорят голоса. И тогда было сделано удивительное открытие —

оказалось, они полностью повторяли программы московских радиостанций. Другими словами, больные стали таинственным образом ловить радио без приемника.

Доктора начали выяснять, было ли что-то общее в биографиях пациентов. Оказалось, незадолго до появления голосов все они обращались в одну и ту же экспериментальную зубную клинику, где им поставили пломбы из нового биметаллического сплава.

Так было сделано открытие, что зубная пломба определенной формы, изготовленная из биметаллической пластинки, способна работать как радиоприемник, используя крохотные разности потенциалов, накапливающиеся в полости зуба. Этим феноменом заинтересовались спецслужбы, и информация была убрана из открытого доступа — или заменена дезинформацией. Больных перефренией вылечили стоматологи, и дальнейшей разработкой говорящих пломб стало заниматься совсем другое ведомство.

Работа шла все девяностые годы, временами останавливаясь из-за недостатка финансирования. Постепенно удалось создать пломбу, которая не только принимала сигнал и преобразовывала его в звуковую волну, поступающую в височную кость, но способна была на обратную трансформацию — превращала речь в электромагнитный импульс, излучаемый затем в пространство. Предполагалось, что такие пломбы можно будет ставить, например, разведчикам и диверсантам, чтобы вооружить их ультракомпактной системой связи.

Вскоре выяснились достоинства и недостатки нового метода. Меняя состав и конструкцию пломбы, можно было с высокой точностью настроить ее на

прием определенной радиочастоты, исключив все остальные сигналы. Пломба могла принимать передачу, ведущуюся с большого расстояния. Но вот обратный сигнал из-за недостаточной мощности мог быть пойман только на расстоянии в несколько сот метров, и даже для этого требовалась громоздкая аппаратура.

В итоге военного применения новый тип связи не нашел. Служба внешней разведки тоже не проявила к нему интереса — это было время интернет-бума, и передача информации по радио казалась вчерашним днем.

Но недавно разведка вновь заинтересовалась советским открытием, только уже совсем в других видах.

— Дальнейшая информация, — пророкотал Шмыга в моем расплавленном мозгу, — является настолько секретной, что я смогу сообщить ее тебе только на ухо при личной встрече. И не удивляйся, Семен, если я это ухо потом откушу и съем.

Я, кстати, не понимал тогда, что все эти его «мотай на пейс» и «откушу ухо» были не рычанием зверя, то и дело напоминающего, как он страшен, а, наоборот, эдакой телячьей лаской, угловатым приветом нашему детству. В сущности, Шмыга был очень одиноким человеком, и репрессированная нежность, которой не нашлось применения в его жизни, произвольно выходила из него болезненными уродливыми комками — словно сперма из монаха, уснувшего перед алтарем.

3

— Нас ждет полковник Добросвет, — сказал Шмыга, когда меня доставили в хорошо известное каждому москвичу здание. — Он все объяснит. Личность это

выдающаяся, так что постарайся ему понравиться. Он будет с нами работать.

Буду ли с ними работать я, кажется, даже не подлежало обсуждению. Такая наглость обескураживала.

По дороге Шмыга немного рассказал об этом человеке. Раньше у него было другое имя, но теперь его называли именно так — полковник Добросвет, причем одно слово заменяло ему имя и фамилию. Он заведовал отделом спецвеществ и измененных состояний сознания — но был, как я понял из вскользь брошенной фразы, не просто драг-дилером ФСБ, а чем-то вроде главного консультанта по духовно-эзотерическим вопросам.

Шмыга относился к Добросвету с чрезвычайным уважением — это было видно хотя бы из того, что он, генерал, вел меня на встречу к полковнику. По словам Шмыги, в те годы, когда Гайдар спасал страну от голода, а Чубайс от холода, Добросвет несколько раз сберег Россию от вторжений из кетаминового космоса, причем зону конфликта чудовищным усилием удалось удержать в границах его собственной психики, которая в результате сильно пострадала.

Он получил за свой подвиг Золотую Звезду героя. После этого травматического опыта он принял язычество, но по-прежнему оставался человеком свободного образа мыслей и готов был предоставить в наше распоряжение всю свою огромную эрудицию и опыт.

Добросвет ждал нас в пустом актовом зале.

Это был молодой еще человек — невысокий, полный, с рыжей бородкой и светлыми волосами. Он был весьма странно одет: его рубаша была густо расшита славянским орнаментом, а за плечами болталась

соломенная шляпа пасечника. В руке он держал резной посох, увенчанный потрескавшимся бородатым божком. Весь его вид излучал спокойное благодушие и даже какую-то летнюю лень.

— Садитесь, друзья мои, — сказал он.

Мы со Шмыгой уселись в первом ряду, а пасечник забрался на эстраду, прислонил свой посох к стене и стал прогуливаться перед нами, задумчиво почесывая бородку. Я увидел, что он обут в лыковые сандалеты сложного античного плетения. Это его хождение уже начало мне надоедать, но Шмыга сохранял спокойствие.

— Скажите, Семен Исакович, вы верующий человек? — спросил вдруг Добросвет. — Только честно.

Шмыга повернулся и очень внимательно на меня посмотрел.

Я пожал плечами.

— Даже не знаю, как сказать. Верю, что-то такое есть. Какая-то сила, которая... Наводит порядок. Но в церковь не хожу. И в синагогу, если вы намекаете, тоже.

— И от религиозной схоластики с метафизикой вы тоже далеки?

Я развел руки в стороны, чтобы показать, как далек.

Добросвет кивнул, будто именно такого ответа и ожидал. Походив по сцене еще немного, он спросил:

— А как вы относитесь к уверенности некоторых граждан, что евреи правят миром? Не разделяете ли вы эту точку зрения глубоко в душе?

— Познакомьте меня с кем-нибудь из таких евреев, — ответил я. — Или хотя бы дайте телефон. Мне кажется, что они совсем про меня забыли.

Добросвет опять кивнул и еще немного походил по сцене.

— Возможно, — сказал он с загадочной улыбкой, — мы именно это и сделаем. Причем вселенский правитель может обнаружиться даже ближе, чем вы думаете.

— Во-во, — подтвердил Шмыга.

— Что вы имеете в виду? — спросил я напряженно.

— Не будем торопить события, — сказал Добросвет. — Я хотел бы, *mon cher* Семен, чтобы между нами сперва установились доверительные отношения. Для этого есть все необходимые условия. Хочу сразу сказать, что мы в нашей организации давно избавились от пещерного антисемитизма, которым страдали многие должностные лица Российской империи и Советского Союза.

— Неофициально могу добавить, — бросил Шмыга, — что мы считаем распятие Иисуса Христа внутренним делом еврейского народа.

Добросвет внимательно уставился на меня, словно ожидая благодарной реакции на такой щедрый аванс.

— Спасибо за понимание, — сказал я кротко.

— Так вот, — продолжал Добросвет, — насчет того, кто правит миром. Конечно, *mon ami* Семен, это не евреи. Но это и не какой-то другой народ или формально организованная компания людей, хотя некоторые члены Бильдербергской группы и тешат себя такими мыслями, начитавшись антиглобалистских листовок. Скорее мировая власть является чем-то вроде блуждающего пятна света, куда попадают то одни, то другие — некоторые надолго, а некоторые всего на несколько секунд. Подробный анализ этого пятна занял бы у нас много времени, но для наших це-

лей достаточно сказать, что в нем часто появляются люди, которых обобщенно называют «американские религиозные правые». Вы ведь про них слышали, Семен?

Я сделал неопределенный жест, способный означать все что угодно в диапазоне от «слышал много раз» до «расскажите, пожалуйста».

— Тогда, — продолжал Добросвет, — я коротко обрисую вам духовно-политические взгляды этой публики. Итак, американские религиозные правые — это люди, полагающие, что видимый нами мир был создан за шесть дней Богом, который сперва избрал в качестве любимого народа кочевое племя синайских скотоводов, но после своей трагической гибели на кресте изменил завет таким образом, что в конечном счете избранным племенем оказались Соединенные Штаты Америки. Пока ясно?

— Не очень, — сказал я честно.

— Неудивительно, — улыбнулся Добросвет. — Метафизика религиозных правых крайне сложна для восприятия. Дух синайской пустыни, беседующий с вождями кочевников, является для них Первопричиной, Альфой и Омегой, Богом с большой буквы «G». Причем Богом не в том смысле, в каком, по мнению суфиев или сикхов, им является абсолютно все, а в узкоэксклюзивном. Духи остальных пустынь уже не есть Бог, а все остальные страны — не богоизбранны. Догмат о богоизбранности Америки, который религиозные правые постоянно пытаются сделать фундаментом реальной политики, мало чем отличается от догмата о непогрешимости папы. Из него следует — все, что делает Америка, правильно, морально и справедливо по той простой причине, что это делает Амери-

ка. В той или иной степени так думает значительное число американцев...

Слушая этот бред степной кобылицы, я почему-то вспомнил тетю Люсю, жившую в Одессе через две улицы от нас. Ее племянник Алик был старше меня на десять лет — когда я только начинал ходить в школу, у него уже росли заметные бакенбарды. Он был единственный одесский еврей на моей памяти, который верил в Бога как положено, и Бог ему помог — Алик уехал в Америку и открыл на Брайтоне колбасный магазин, настолько кошерный, что колбаску там заворачивали только в журнал «Нью-Йоркер», отлежавший две недели, чтобы из бумаги испарились все ароматы.

И люди, которым жалко было покупать журнал, каждый день покупали у него колбасу, поскольку думали, что таким образом бесплатно поддерживают свою культурную эрудицию на мировом уровне. Хотя Алик, конечно, был не дурак и учитывал стоимость журнала в цене конечного продукта, да еще и добавлял приличную накрутку.

Но рассказывать Добросвету со Шмыгой об этом премиллом курьезе я, повинувшись смутному инстинкту, не стал.

Добросвет тем временем уносился в ковыли все дальше и дальше:

— Если вдуматься, по сравнению с такой картиной мира мировоззрение германских нацистов покажется образцом научного позитивизма. Ибо нацисты провозглашали себя избранной расой на основе набора наукообразных тезисов — например, претензий на совершенную форму черепа. Теоретически можно было измерить циркулем много разных черепов

и научно доказать Гитлеру, что он не прав. Религиозным правым доказать ничего нельзя, поскольку в их случае нет ничего такого, что можно было бы измерить циркулем. Они полагают себя богоизбранными исключительно на основании своей веры в то, что они избраны Богом. Кроме того, они опираются на смутные пророчества сомнительных древних книг, заложником которых в результате становится весь мировой исторический процесс. Стоит подумать, что такие люди время от времени получают контроль над американской ядерной кнопкой, и становится попросту жутко...

У Шмыги забибикал телефон. Он посмотрел на экранчик и не стал отвечать. Однако его лицо несколько помрачнело.

— Ярким представителем религиозных правых является нынешний президент США Джордж Буш, — продолжал Добросвет. — И здесь я хочу сделать одно важное замечание. Либеральные СМИ Запада тщательно внедряют в массовое сознание мысль о том, что сорок третий президент США — совершенный идиот. Английские карикатуристы изображают его в виде обезьяны с волосатыми ушами и вытянутым трубочкой ртом. Нью-йоркские комики сравнивают Буша даже не с Гитлером, а с тупым лопухим имбецилом, который мог бы стать Гитлером, будь у него побольше мозгов. Но выпускник Йеля Буш, разумеется, вовсе не вульгарный простец, чудом затесавшийся во власть. Его только позиционируют таким образом. Причем, что самое интересное, занята этим в первую очередь его собственная пиар-служба.

— Но зачем? — спросил я.

Добросвет мудро улыбнулся.

— Семен, — сказал он, — такой подход нам действительно трудно понять. Россия — последний оплот древней евразийской культуры. Ее традиции требуют, чтобы медийный образ высших должностных лиц отражал в первую очередь то уважение, которое испытывает к ним народ, вверивший им свою судьбу. А в Америке ценится не блеск безупречного стиля, а способность достучаться до сердца тупого красномордого избирателя, для чего рафинированных выпускников элитарных университетов превращают в простых парней из народа, от которых вздрогнет и Бирюлево...

Шмыга поглядел на часы и спросил:

— А что ты думаешь, Семен... Бирюлево вздрогнет от Буша?

— Это смотря с какой скоростью Буш в него врежется, — ответил я дипломатично.

Шмыга удовлетворенно кивнул.

— Такой пиар-стратегией, — продолжал Добросвет, — и объясняется преследующая Джорджа Буша еще с губернаторских времен слава косноязычного придурка. Каждый раз, когда либеральные СМИ начинают издеваться над манерами президента или смаковать очередной его «бушизм», кулаки потенциального избирателя где-нибудь на Среднем Западе сжимаются от гнева к оборзевшим мультикультурным элитистам, и в копилку республиканцев падает очередной голос. «Бушизмы», по нашим сведениям, выдумывает специальная креативная группа при команде президентских спичрайтеров, которая называется «Dubya squad». Однако было бы упрощением считать, что медийный образ Джорджа Буша фальшив на все сто процентов. Его истовая религиозность, привлекающая к нему консервативный электорат, является на

сто процентов искренней — хотя и немного необычной для такого блестяще образованного человека, как сорок третий американский президент.

Шмыга еще раз поглядел на часы.

— Это странное на первый взгляд противоречие между университетским образованием и верой в набор дичайших суеверий, — продолжал Добросвет с воодушевлением, — было разрешено больше тысячи лет назад христианским богословом Тертуллианом. *Credo quia absurdum est*, возглашает тот. Верую, ибо абсурдно...

— Сворачивай, Добросвет, — перебил Шмыга. — А то уже латынь пошла. Еще будет время. Ты о главном скажи, пока я здесь.

Добросвет откашлялся, потом оглянулся по сторонам, словно проверяя, одни ли мы по-прежнему в зале.

— Короче, Семен, чтобы долго тебя не мучить, — сказал он негромко. — У Буша в зубе такая же пломба, как у тебя. А знают про это три человека. Теперь уже четыре. Четвертый, чтоб ты понимал, зубной врач.

— Так, — сказал я, быстро соображая, — так... Это ведь очень опасно — знать такие вещи. Ну, зубной врач понятно, он ваш агент. Вы двое — тоже понятно. А зачем про это знаю я?

— А затем, — прошептал Шмыга, наклоняясь прямо к моему лицу, — что ты теперь будешь работать Богом. Богом, который будет говорить с Бушем и давать ему правильные советы.

Мне потребовалось несколько секунд, чтобы до меня дошел смысл этих слов. Потом я поглядел Шмыге в глаза. С таким же успехом можно было глядеть на две безумные оловянные пуговицы.

— Владик, — попытался я достучаться до его рассудка, — ты же еще в детстве написал в моем личном

деле, что я говорю со смешным еврейским акцентом. И это чистая правда. Как, по-твоему, я смогу выдать себя за Бога?

— Это твое дополнительное достоинство, Семен, — вмешался Добросвет. — А вовсе не недостаток. *Credibile est, quia ineptum est!* Правдоподобно, ибо нелепо! Если Бог может избрать своим народом кочевое племя скотоводов, почему бы такому Богу не говорить с еврейским акцентом? Для американских религиозных правых это будет вдвойне убедительно.

— Но я ведь темный в вопросах веры человек. Буш это быстро поймет.

— Не волнуйся, Семен, — сказал Шмыга. — Мы тебя подготовим. Добросвет разработал специальный экспресс-курс. Завтра ты переезжаешь на нашу базу за городом. И следующие два месяца у тебя будут довольно напряженными.

— Но почему я?

— Исполнителя мы искали долго, — сказал Шмыга. — Как ты понимаешь, нужен хороший английский. Но главное... Нужен совершенно особый талант. Бог не может говорить так, как все люди. Будешь смеяться, но я тут же вспомнил о твоих ночных представлениях. Чисто для галочки подняли информацию. Оказалось, ты в Москве. Мало того, преподаешь английский. Сходили к тебе на курсы, послушали. И поняли, что второго такого кандидата у нас нет.

— А если я откажусь? — спросил я.

— Скорей всего, попадешь в автокатастрофу, — сказал Шмыга. — И я буду плакать, честное слово. А сделаешь все как надо, дадим тебе миллион американских долларов и отпустим. Не бойся, не обманем. Для

нас это смешные деньги. Не надо даже по ведомости проводить.

— Операция называется «Burning Bush», — сказал Добросвет. — Мы дали ей английское название, потому что в нем два смысла, которые ты сразу поймешь. Горящий куст — это одно из библейских лиц Бога. Ну а паленый Буш есть паленый Буш...

4

Я догадывался, что занятия вряд ли будут проходить в школьном классе. Но я не ожидал, что они будут проходить в ванне.

Правда, выглядела она как серая цистерна с люком на торце. Цистерна стояла в небольшой желтой комнате, похожей на торпедный отсек субмарины. Это было опытное и, как водится, секретное изделие ВПК, так называемая «камера сенсорной депривации», в которой Добросвет и совершил когда-то свои невидимые миру подвиги. Теперь ее перевезли на специально оборудованную базу войск связи, о которой я расскажу чуть позже.

Устроена камера оказалась более чем просто — в сделанную из композита цистерну был налит сверхконцентрированный соляной раствор плотностью примерно как вода в Мертвом море, подогретый до температуры тела. Еще там имелись вентиляционные окошки и кнопки «свет» и «тревога». Называлась ванна «изделие «Самашки-1».

Забегая вперед, скажу, что через несколько лет на рынке появилась коммерческая версия этой камеры под названием «Самадхи-1», но от хайтековского военного шика в ней не осталось и следа — она стала тесным пластмассовым пеналом самого бюджетного вида.

— Если мы начнем учить теорию, Семен, — сказал Добросвет при нашей следующей встрече, — у нас уйдет на это много лет. Причем вовсе не факт, что будет польза, поскольку теорий в этом вопросе много, и никто не знает, какая из них правильная. Мало того. Все религии и духовные учения спорят между собой по множеству поводов, но сходятся в одном — объяснить человеку, что такое Бог, невозможно. Вернее, можно объяснить человеку концепцию Бога, и она станет частью его умственного багажа. Но это не значит, что человек познает Бога. Это значит, что на его горбу появится еще один чемодан баракла, который он понесет с собой на кладбище. Бога можно только непосредственно пережить.

— У вас был такой опыт? — спросил я как можно невинней.

— Дело не в том, — ответил с безмятежной улыбкой Добросвет, — был ли он у меня. Дело в том, что он должен появиться у тебя, причем в поставленные руководством сроки.

— А зачем нам это?

— Семен, — сказал Добросвет, — ты должен убедить Буша в том, что ты Бог. А Буш ведь совсем не дурак. Как ты собираешься это сделать, если не сможешь войти в образ?

— В какой образ?

— Вот это нам и предстоит выяснить.

И он положил ладонь на серый бок цистерны.

Занятия проходили, как выразился Добросвет, «по классической схеме», хотя я не очень понимал, какой смысл он вкладывает в эти слова.

Сначала он лично давал мне выпить стаканчик кваса с растворенными в нем «усилителями осознано-

сти», как он их называл. Надо сказать, что я терпеть не мог кваса и все время просил заменить его каким-нибудь сладким софт-динком, но Добросвет отказывался, говоря, что квас дает самый лучший метаболический эффект. Я не верил ему, предполагая, что дело здесь в языческом суеверии, но поделать ничего не мог. Насколько я понимал, у его квасной психоделии не было постоянной рецептуры, и он все время экспериментировал, но одним из рабочих ингредиентов было вещество ЛСД-25, которое, по его словам, почти не оказывало на меня эффекта.

Сразу хочу сделать замечание для любителей психотропов — не пробуйте повторить ни один из этих опытов! У вас ничего не выйдет, потому что занимавшиеся мной специалисты имели доступ к секретным веществам, доступным только фармакологам спецслужб, и вам никогда не удастся воссоздать ту формулу, которая приводила к описанным ниже результатам. Вы только нанесете невосполнимый ущерб своей психике и здоровью — как это и произошло в конце концов со мной.

С отвращением проглотив квас, я затыкал уши резиновыми пробками, залезал в цистерну, закрывал за собой люк, поворачивался спиной вперед и осторожно ложился в нагретую до температуры тела воду. Вода была так густо напитана солью, что я плавал в ней, как поплавков — и через несколько минут совсем переставал ее замечать.

В темной и чуть душной камере не было никакой разницы, закрыты глаза или открыты, потому что видели они одно и то же — густопсовую черноту. Вскоре я совсем переставал чувствовать свое тело и вспоминал о нем только тогда, когда оно, медленно дрей-

фуя, натыкалось на один из бортов. Но постепенно прекращались и эти редкие толчки, и вокруг не оставалось ничего, кроме предвечной тьмы. В общем, все становилось точь-в-точь как до сотворения Земли — вот только Дух Божий не носился над водою.

Именно это Добросвет и собирался поправить.

Я привыкал к происходящему постепенно, и не стану утомлять читателя подробным описанием своих переживаний. Бывали у меня и кошмары, когда мне приходилось жать на кнопку «тревога» (после этого меня быстро вытаскивали наружу и давали пить крепкий чай), были периоды, когда я попросту засыпал, и тогда меня будили легким стуком по цистерне.

Случались и такие сеансы, когда не происходило вообще ничего — словно я был не психонавтом, лежащим в камере сенсорной депривации, а килькой в томате, достигшей абсолютного единства с мирозданием и не думающей теперь ни о чем.

Но к концу третьей недели мои ежедневные сессии (каждая из которых длилась около трех часов) стали весьма походить друг на друга.

Сначала я проваливался в свои обычные мысли — причем так глубоко, что совершенно забывал, где нахожусь и зачем. Я мог вспоминать об Одессе моего детства, сводить мысленные счета с какой-нибудь гадюкой с курсов «Intermediate Advanced» или тоскливо прикидывать, что меня, наверно, в конце концов убьют — ведь не могут же эти гниды отпустить человека, которому они столько успели рассказать.

Но примерно через полчаса (или час — точное время зависело от состава) начинал действовать квасок Добросвета и картина менялась.

Давление мыслей слабело, словно им становилось все труднее догонять меня на своих кривых черных ножках. Потом они пропадали совсем, и выяснялось, что я не Семен Левитан, про которого я знаю все, а некое безымянное присутствие, пронизанное вспышками редких и очень красивых огоньков. И про это безымянное присутствие я не знал ничего, потому что про него нечего было знать в принципе. В нем можно было только пребывать, а стоило начать о нем думать, и его полностью заслоняли мысли. Тогда там, где оно мерцало миг назад, вновь возникал постылый думатель и знатель.

Но времени на анализ этих переживаний у меня не оставалось — как только квасок входил в полную силу, оживал мой радиозуб.

Когда вмонтированный в меня голос Родиной заговорил в первый раз, я чуть не захлебнулся от испуга. Зуб молчал все время после первой беседы со Шмыгой, и никто не предупредил меня, что его собираются использовать.

И вдруг моя сокровеннейшая глубина заговорила звучным женским голосом:

— Согласно Бердяеву, к Богу неприменима низменная человеческая категория господства. Бог не господин и не господствует. Богу не присуща никакая власть, Ему не свойственна воля к могуществу, Он не требует рабского поклонения невольника. Бог есть свобода, Он есть освободитель, а не господин. Бог дает чувство свободы, а не подчиненности...

И так далее.

Видящий эти слова на бумаге вряд ли поймет, что происходило в темной камере, где они действовали совсем иначе, чем обычная человеческая речь. Они

как бы прорезали мое сознание насквозь, полностью заполняя его своим значением, и становились единственной и окончательной реальностью на то время, пока звучали.

Все дело было в квасе Добросвета. Он постоянно экспериментировал с составом, и эффект был то слабее, то сильнее — но каждый раз мне приходилось осознавать взрывающиеся в моем мозгу смыслы с какой-то загробной необратимостью. Я проваливался в прочерченную ими борозду, чтобы мучительно умереть в ней зерном, которому еще предстояло взойти. Всякий раз это была агония, потому что спрятаться от звучащих в моем черепе голосов во влажной черноте было совершенно некуда — и я становился добычей любого настигавшего меня шепота.

Добросвет со Шмыгой организовали мой тренинг со свойственным их ведомству цинизмом. Они приглашали в центр подготовки самых разных людей, сажали их перед микрофоном, якобы для участия в радиопередаче, и просили поделиться сокровенным — сказать что-нибудь о Боге. Обычно от каждого ждали пятнадцати-двадцати минут эфира.

Если перед микрофоном оказывался священник, чаще всего он читал священные тексты своей конфессии. Артист декламировал какой-нибудь посвященный Всевышнему художественный отрывок, обычно стихи. Философ уходил в малопонятные мне метафизические дебри.

Видимо, все эти люди полагали, что служат хорошему делу, а сказанное ими дойдет до зевающих оперативников по какой-нибудь внутренней фээсбэшной радиосети и сделает их чуть человечнее и добрее. Они и представить не могли, что их слова принудительно

трансформируются в психическую реальность в мозгу подвешенного в черной вечности человека, полностью лишенного обычного иммунитета к чужой речи.

Как ни странно это прозвучит, чаще всего меня радовала исламская духовная образность — хотя транслировавшие ее голоса, судя по разбойной хрипоте, принадлежали временно вписанным в вертикаль чеченским бандитам, которые наверняка зарезали бы меня, не моргнув и глазом:

— Истинно, Всемогущий Господь имеет вино для Своих друзей; и оно таково, что, когда они пьют его, оно пьянит их; опьяненные, они радуются; возрадовавшись, они расслабляются; расслабившись, они смягчаются; смягчившись, они очищаются; очистившись, они достигают; достигнув, они воссоединяются с божественным; воссоединившись, они теряют различия...

Я не понимал, о чем эти слова, но душа понимала, и успокаивалась, и радовалась чему-то.

За два с лишним месяца подготовки сквозь мой распластанный в темноте ум прошли рассудительные хасиды Мартина Бубера, прекрасный голый мальчик Мейстера Эххарта (тот был католиком), Кришна из Бхагават-Гиты, Парабрахман и Атман, Логос Даниила Андреева, сокрытый человек Якова Беме и многие другие формы, сквозь которые человек прозревал Сущего.

Но самое удивительное было в том, что слушателем в этом странном опыте был не совсем я. Голоса обращались не к Семену Левитану, а к какому-то его аспекту, загадочному и таинственному для меня самого.

Получалось прямо как в одесском анекдоте про даму с собачкой, которая садится в такси. Таксист

поворачивается и спрашивает: «Куда сучку везешь?» Дама, натурально, говорит: «Это не сучка, а кобель». А таксист ей: «Я не с вами говорю, мадам». Вот так же и в моем случае. Высокие и великие умы говорили не со мной, а с какой-то сидевшей на заднем сиденье моего ума собачкой, которая единственно представляла для них смысл и ценность — а в мою сторону даже не смотрели.

Было немного обидно, и порой я начинал размышлять, кто же такой настоящий я? Семен Левитан или эта неведомая собачка? Но ответа не было. В общем, в великом «Я и Ты» Мартина Бубера в наличии пока имелся только элемент «Я», да и то становилось все непонятней, в каком углу цистерны с соленой водой его искать.

Не буду пересказывать услышанное в те дни. Секрета здесь нет — священные книги человечества открыты для всех, мировая философия и поэзия тоже. Я, конечно, узнал много нового — но нельзя сказать, что я лучше стал понимать Бога. Наоборот, про Него было ясно все меньше и меньше. И скоро я превратился в дрожащий под каждым смысловым дуновением лист — моя беззащитная душа устрасалась всякий раз, когда звучащие в ней строки были грозно-темными, и радовалась, когда они оказывались добрыми, светлыми и простыми.

А порой мне читали такие стихи, что эти чувства настигали одновременно:

— Пугают путь им лукавые черти.

Даль просыпается в россыпях солнца.

Бог не повинен ни в жизни, ни в смерти.

Мук не принявший вовек не спасется...

И постепенно мне стало понятно, чего от меня ждут: вот так же прогреметь полными непостижимой простоты словами в чужом сознании, оглушить его и угнать, как угоняют машину или самолет.

5

Сеанс сенсорной депривации, когда произошло самое главное событие моей жизни, я запомнил в мельчайших подробностях.

Все началось как обычно. Минут через сорок после того, как я погрузился в соленую воду, квасок Добросвета начал действовать, и я полностью слился с темной влажной тишиной. Редкие мысли, возникавшие в моей голове, казались сами себе настолько громоздкими и неуклюжими, что, словно устыдившись своего уродства, исчезали сразу после того, как отражались в зеркале моего неподвижного ума.

И вдруг это ровное зеркало разбила кувалда загремевшего в моем мозгу баса:

— О ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества,
Теченьем времени превечный,
Без лиц, в трех лицах божества!
Дух всюду сущий и единый,
Кому нет места и причины,
Кого никто постичь не мог,
Кто всё собою наполняет,
Объемлет, зиждет, сохраняет,
Кого мы называем: Бог!

Своими жирными интонациями чтец напоминал типичного диктора какой-нибудь московской FM-радиостанции. В уме сразу возникал образ эдакого в меру наглого, скользко-оборотистого и хи-

трожопо-нахрапистого субъекта рыночных отношений, вооруженного смартфоном последней модели. Видимо, помощники Шмыги решили сэкономить на артистах и наняли по дешевке одного из тех молодцев, которые смердят в эфире своими руладами о дешевых кредитах и мгновенной продаже жилплощади.

Я все-таки отвлекся — и стал думать о том, что московский радиобизнес достоин всяческого уважения за свою способность паразитировать на западной попсе, которая сама насквозь паразитична: надо все-таки уметь не просто ежедневно сосать кровь у вампиров, но еще и серьезно отравлять при этом воздух над огромной территорией...

Впрочем, думал я, одно дело вести такой бизнес самому, а совсем другое — слушать радио. Этого не надо делать никогда, особенно за рулем.

Человек сидит за баранкой, глядит в ветровое стекло, за которым творится сами знаете что, и совершенно не замечает, какие изощренные смысловые гарпуны вонзаются в его сосредоточенный на дороге мозг. Это, извиняюсь, как если бы он под гипнозом стоял раком без штанов и даже не видел, кто и в каком порядке пристраивается к его задку — а местами в очереди торговал бы коммерческий отдел радиостанции.

А ведь кроме рекламы там есть еще и песни. Их вообще надо анализировать вместе с психиатром куплет за куплетом. Вот так поездил денек по Москве — и встал из-за баранки лет на десять старше и мудрее, с особым блеском в глазах и твердым намерением завтра же взять кредит под смешные проценты... Ой-вей, и ведь все, что окружает человека в современном го-

роде, имеет практически ту же природу. Какое уж тут задуматься о Боге.

Тут я понял, что слишком глубоко провалился в размышления о радиобизнесе — а все потому, что читать подобные стихи должен человек, у которого есть хотя бы зачаток бессмертной души. Вместе с тем, я не пропустил ни одной стихотворной строчки, потому что мой освобожденный от тела ум развивал удивительную скорость: вся эта цепь мыслей заняла лишь крохотную долю секунды.

— Не могут духи просвещенны,
От света твоего рожденны,
Исследовать судеб твоих:
Лишь мысль к тебе взнестись дерзает,
В твоём величьи исчезает,
Как в вечности прошедший миг!

Неожиданно моя мысль вознеслась к чему-то бесконечно высокому и прекрасному и тут же, как и было обещано, исчезла. Но, перед тем как она исчезла, я все же успел понять, что такой невообразимый взлет возможен, и это прекрасное — на самом деле существует в его высшей точке...

— Себя собою составляя,
Собою из себя сияя,
Ты свет, откуда свет истек...

Когда ослепительная вспышка света, в которую превратили меня эти строки, опять сменилась сырой тьмой, я понял, что Добросвет сегодня дал мне какой-то особенно мощный коктейль — и перевел мой подвешенный в невесомости ум в режим форсажа.

Мне приходилось переживать смысл каждого слова с небывалой силой и ясностью. Я не просто про-